

Джакомо Джойс

Кто? Бледное лицо в ореоле пахучих мехов. Движения ее застенчивы и нервны. Она смотрит в лорнет. Да: вздох. Смех. Взлет ресниц.

Паутинный почерк, удлиненные и изящные буквы, надменные и покорные: знатная молодая особа.

Я вздымаюсь на легкой волне ученой речи: Сведенборг, псевдо-Ареопагит, Мигель де Молинос, Иоахим Аббас. Волна откатила. Ее классная подруга, извиваясь змеиным телом, мурлычет на венско-итальянском. Это культура! Длинные ресницы взлетают: жгучее острие иглы в бархате глаз жалит и дрожит.

Высокие каблучки пусто постукивают по гулким каменным ступенькам. Холод в замке, вздернутые кольчуги, грубые железные фонари над извивами витых башенных лестниц. Быстро постукивающие каблучки, звонкий и пустой звук. Там, внизу, кто-то хочет поговорить с вашей милостью.

Она никогда не сморкается. Форма речи: малым сказать многое.

Выточенная и вызревшая: выточенная резцом внутрисемейных браков, вызревшая в оранжерейной уединенности своего народа. Молочное зарево над рисовым полем вблизи Верчелли. Опущенные крылья шляпы затемяют лживую улыбку. Тени бегут по лживой улыбке, по лицу, опаленном горячим молочным светом, сизые, цвета сыворотки тени под скулами, желточно-желтые тени на влажном лбу, прогоркло-желчная усмешка в сощуренных глазах. Цветок, что она подарила моей дочери. Хрупкий подарок, хрупкая дарительница, хрупкий прозрачный ребенок.

Падуя далеко за морем. Покой середины пути, ночь, мрак истории дремлет под луной на Пьяцца дель Эрбле. Город спит. В подворотнях темных улиц у реки — глаза распутниц вылавливают прелюбодеев. Пять услуг за пять франков. Темная волна чувства, еще и еще и еще. Глаза мои во тьме не видят ничего, любовь моя. Еще. Не надо больше. Темная любовь, темное томление. Не надо больше. Тьма.

Темнеет. Она идет через площадь. Серый вечер спускается на безбрежные шалфейно-зеленые пастбища, молча разливая сумерки на росу. Она следует за матерью угловато-грациозная, кобылица ведет кобылочку. Из серых сумерек медленно выплывают тонкие изящные бедра, нежная гибкая худенькая шея, изящная и точеная головка. Вечер, покой, тайна... Эгей! Конюх! Эге-гей!

Папаша и девочки несутся по склону верхом на санках: султан и его гарем. Низко надвинутые шапки и наглухо застегнутые куртки, пригревшийся на ноге язычок ботинка туго перетянут накрест шнурком, коротенькая юбка натянута на круглые чашечки колен. Белоснежная вспышка: пушинка, снежинка:

Когда она вновь выйдет на прогулку,
Смогу ли там ее я лицезреть!

Выбегаю из табачной лавки и зову ее. Она останавливается и слушает мои сбивчивые слова об уроках, часах, уроках, часах: и постепенно румянец заливает ее бледные щеки. Нет, нет, не бойтесь!

Отец мой! В самых простых поступках она необычна. Откуда бы это? Дочь моя восторгается учителем английского языка. Лицо пожилого мужчины, красивое, румяное, с длинными белыми бакенбардами, еврейское лицо поворачивается ко мне, когда мы вместе спускаемся по горному склону. О! Прекрасно сказано: обходительность, доброта, любознательность, прямота, подозрительность, естественность, старческая немощь, высокомерие, откровенность, воспитанность, простодушие, осторожность, страстность, сострадание: прекрасная смесь. Игнатий Лойола, ну, где же ты!

Сердце томится и тоскует. Крестный путь любви? Тонкие томные тайные уста: темнокровные моллюски. Из ночи и ненастья я смотрю туда, на холм, окутанный туманами. Туман повис на унылых деревьях. Свет в спальне. Она собирается в театр. Призраки в зеркале... Свечи! Свечи! Моя милая. В полночь, после концерта, поднимаясь по улице Сан-Микеле, ласково нашептываю эти слова. Перестань, Джеймси! Не ты ли, бродя по ночным дублинским улицам, страстно шептал другое имя? Она поднимает руки, пытаюсь застегнуть сзади черное кисейное платье. Она не может: нет, не может. Она молча пятится ко мне. Я поднимаю руки, чтобы помочь: ее руки падают. Я держу нежные, как паутинка, края платья и, застегивая его, вижу сквозь прорезь черной кисеи гибкое тело в оранжевой рубашке. Бретельки скользят по плечам, рубашка медленно падает: гибкое, гладкое голое тело мерцает серебристой чешуей. Рубашка скользит по изящным из гладкого, отшлифованного серебра ягодицам и по бороздке тускло-серебряная тень... Пальцы холодные легкие ласковые... Прикосновение, прикосновение. Безумное, беспомощное слабое дыхание. А ты нагнись и внемли: голос. Воробей под колесницей Джаггернаута взывает к владыке мира. Прошу тебя, господин Бог, добрый господин Бог! Прощай, большой мир!.. Ведь это же свинство. Огромные банты на изящных бальных туфельках: шпоры изнеженной птицы. Дама идет быстро, быстро, быстро... Чистый воздух на горной дороге. Хмуро просыпается Триест: хмурый солнечный свет на беспорядочно теснящихся крышах, крытый коричневой черепицей черепахоподобных; толпы пустых болтунов в ожидании национального освобождения. Красавчик встает с постели жены любовника своей жены; темно-синие свирепые глаза хозяйки сверкают, она суетится, снует по дому, сжав в руке стакан уксусной кислоты... Чистый воздух и тишина на горной дороге, топот копыт. Юная всадница. Гедда! Гедда Габлер!

Торговцы раскладывают на своих алтарях юные плоды: зеленовато-желтые лимоны, рубиновые вишни, поруганные персики с оборванными листьями. Карета проезжает сквозь ряды, спицы колес ослепительно сверкают. Дорогу! В карете ее отец со своим сыном. У них глаза совиные и мудрость совиная. Совиная мудрость в глазах, они толкуют свое учение (талмуд). Она считает, что итальянские джентльмены поделом выдворили Этторе Альбини, критика «Секоло», из партера за то, что тот не встал, когда оркестр заиграл Королевский гимн. Об этом говорил за ужином. Еще бы! Свою страну любишь, когда знаешь, какая это страна! Она внемлет: дева весьма благоразумная. Юбка, приподнятая быстрым движением колена; белое кружевокайма нижней юбки, приподнятая выше дозволенного; тончайшая паутина чулка. Позвольте? Тихо наигрываю, напевая томную песенку Джона Дауленда. Горечь разлуки: мне тоже горько расставаться. Тот век предо мной. Глаза распахиваются из тьмы желания, затмевают зарю, их мерцающий блеск — блеск нечистот в сточной канаве перед дворцом слюнтя Джеймса. Вина янтарные, замирают напевы нежных мелодий, гордая павана, уступчивые знатные дамы в лоджиях, манящие уста, загнившие сифилисные девки, юные жены в объятиях своих соблазнительей, тела, тела. В пелене сырого весеннего утра над утренним Парижем плывет слабый запах: анис, влажные опилки, горячий хлебной мякиш: и когда я перехожу мост Сен-Мишель, синевато-стальная вешняя вода леденит сердце мое. Она плещется и ласкается к острову, на котором живут люди со времени каменного века... Ржавый мрак в огромном храме

с мерзкой лепниной. Холодно, как в то утро: потому что было холодно. Там, на ступенях главного придела, обнаженные, словно тело Господне, простерты в тихой молитве священослужители. Невидимый голос парит, читая нараспев из Осии. Так говорит Господь: «В скорби своей они с самого утра будут искать Меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу!» Она стоит рядом со мной, бледная и озябшая, окутанная тенями темного как грех нефа, тонкий локоть ее возле моей руки. Ее тело еще помнит трепет того сырого, затянутого туманом утра, торопливые факелы, жестокие глаза. Ее душа полна печали, она дрожит и вот-вот заплачет. Не плачь по мне, о дочерь Иерусалимская! Я растолковываю Шекспира понятливому Триесту: Гамлет, вещаю я, который изыскано вежлив со знатными и простолюдинами, груб только с Полонием. Разуверившийся идеалист, он, возможно, видит в родителях своей возлюбленной лишь жалкую попытку природы воспроизвести ее образ... Неужели не замечали? Она идет впереди меня по коридору, и медленно рассыпается темный узел волос. Медленный водопад волос. Она чиста и идет впереди, простая и гордая, и так шла она у Данте, простая и гордая, и так, не запятнанная кровью и насилием, дочь Ченчи, Беатриче, шла к своей смерти:

...Мне Пояс затяни и завяжи мне волосы
В простой, обычный узел.

Горничная говорит, что ее пришлось немедленно отвести в больницу, бедняжка, что она очень, очень страдала, бедняжка, это очень серьезно... Я ухожу из ее опустевшего дома. Слезы подступают к горлу. Нет! Этого не может быть, не так сразу, ни слова, ни взгляда. Нет, нет! Мое дурацкое счастье не подведет меня! Оперировали. Нож хирурга проник в ее внутренности и отдернулся, оставив свежую рваную рану в ее животе. Я вижу глубокие темные страдальческие глаза, красивые, как глаза антилопы. Страшная рана! Похотливый бог! И снова в своем кресле у окна, счастливые слова на устах, счастливый смех. Птичка щебечет после бури, счастлива, глупенькая, что упорхнула из когтей припадочного владыки и жизнедавца, щебечет счастливо, щебечет и счастливо чирикает. Она говорит, что будь «Портрет художника» откровенен лишь ради откровенности, она спросила бы, почему я дал ей прочесть его. Конечно, вы спросили бы! Дама ученая. Вся в черном — у телефона. Робкий смех, слезы, робкие гаснущие слова... Поговори с мамой... Цып, цып! Цып, цып! Черная курочка-молодка испугалась: семенит, останавливается, всхлипывает: где мама, дородная курица. Галерка в опере. Стены в подтеках сочатся испарениями. Бесформенная грудa тел сливается в симфонии запахов: кислая вонь подмышек, высосанные апельсины, затхлые притирания, едкая моча, черное дыхание чесночных ужинов, газы, пряные духи, наглый пот созревших для замужества и замужних женщин, вонь мужчин... Весь вечер я смотрел на нее, всю ночь я буду ее видеть: высокая прическа, и оливковое овальное лицо, и бесстрастные бархатные глаза. Зеленая лента в волосах и вышитое зеленой нитью платье, цвет надежды плодородия пышной травы, этих могильных волос. Мои мольбы: холодные гладкие камни, погружающиеся в омут. Эти бледные бесстрастные пальцы касались страниц, отвратительных и прекрасных, на которых позор мой будет гореть вечно. Бледные бесстрастные непорочные пальцы. Неужто они никогда не грешили? Тело ее не пахнет: цветок без запаха. Лестница. Холодная хрупкая рука: робость, молчание: темные, полные истомы глаза: тоска. Кольца серого пара над пустошью. Лицо ее, такое мертвое и мрачное! Влажные спутанные волосы. Ее губы нежно прижимаются, я чувствую, как она вздыхает. Поцеловала. Голос мой тонет в эхе слов, как тонул в отдающихся эхом холмах полный мудрости и тоски голос Предвечного, звавшего Авраама. Она откидывается на подушки: одалиска в роскошном полумраке. Я растворяюсь в ней: и душа струит, и льет, и извергает жидкое и обильное семя во влажный теплый податливо призывный покой ее женственности... Теперь бери ее, кто хочет!.. Выйдя из дома Ралли, я увидел ее, она подавала милостыню слепому. Я здороваюсь, мое приветствие застает ее врасплох, она отворачивается и прячет черные глаза василиска. Одно ее лицеzрение отравляет смотрящего на нее. Благодарю, мессер Брунетто, хорошо сказано.

Подстилают мне под ноги ковры для Сына Человеческого. Ожидают, когда я войду. Она стоит в золотистом сумраке зала, холодно, на покатые плечи накинута плед; я останавливаюсь, ищу взглядом, она холодно кивает мне, проходит вверх по лестнице, искоса метнув в меня ядовитый взгляд. Гостиная, дешевая, мягкая гороховая занавеска. Узкая парижская комната. Только что здесь лежала парикмахерша. Я поцеловал ее чулок и край темно-ржавой пыльной юбки. Это другое. Она. Гогарти пришел вчера познакомиться. На самом деле из-за «Улисса». Символ совести... Значит, Ирландия? А муж? Расхаживает по коридору в мягких туфлях или играет в шахматы с самим собой. Зачем нас здесь оставили? Парикмахерша только что лежала тут, зажимая мою голову между бугристыми коленями. Символ моего народа. Слушайте! Рухнул вечный мрак. Слушайте! — Я не убежден, что подобная деятельность духа или тела может быть названа нездоровой Она говорит. Слабый голос из-за холодных звезд. Голос мудрости. Говори. О, говори, надели меня мудростью! Я никогда не слышал этого голоса. Извиваясь змеей, она приближается ко мне в мятой гостинной. Я не могу ни двигаться, ни говорить. Мне не скрыться от этой звездной плоти. Мудрость прелюбодеяния. Нет. Я уйду. Уйду. — Джим, милый! Нежные жадные губы целуют мою левую подмышку: поцелуй проникает в мою горящую кровь. Горю! Съезживаюсь, как горящий лист! Жало пламени вырывается из-под моей правой подмышки. Звездная змея поцеловала меня: холодная змея в ночи. Я погиб! — Нора! — Ян Питер Свелинк. От странного имени старого голландского музыканта становится странной и далекой всякая красота. Я слышу его вариации для клавикордов на старый мотив: Молодость проходит. В смутном тумане старых звуков появляется точка света: вот-вот заговорит душа. Молодость проходит. Конец настал. Этого никогда не будет. И ты это знаешь. И что? Пиши об этом, черт тебя подери, пиши! На что же ты еще годен?

«Почему?» «Потому что в противном случае я не смогла бы вас видеть». Скольжение-пространство-века-лиственный водопад звезд и убывающие небеса — безмолвие — безнадежное безмолвие — безмолвие исчезновения — в ее голосе. Не Его, но Варраву. Запустение. Голые стены. Стылый дневной свет. Длинный черный рояль: мертвая музыка. Дамская шляпка, алый цветок на полях и зонтик, сложенный. Ее герб: шлем, червлень и тупое копьё на щите, вороном.

Посылка: любишь меня, люби мой зонтик.